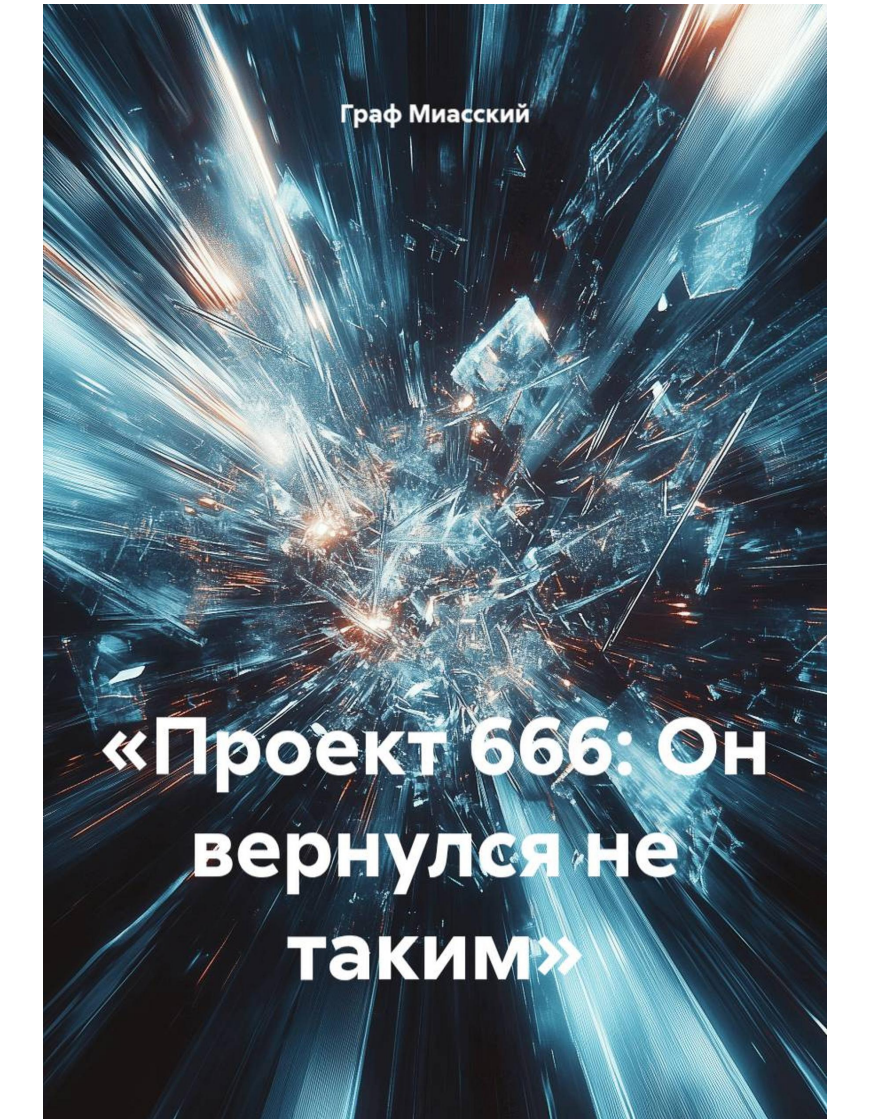


The background is a complex, abstract composition of numerous bright, elongated light streaks in shades of blue and cyan, radiating from a central point. Interspersed among these are smaller, sharper streaks of orange and yellow, creating a sense of intense energy and motion, similar to a high-speed camera capturing a cosmic event or a particle collision.

Граф Миасский

**«Проект 666: Он
вернулся не
таким»**

Граф Миасский «Проект 666: Он вернулся не таким»

<https://litres.ru/74689792>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он вернулся через сто двадцать два дня. Но это не он.

Три месяца Анна ждала мужа, пропавшего без вести. Когда Игорь переступил порог, она поняла: что-то не так. Он не спит. Не ест. Не чувствует холода. А за ухом — свежий шрам, под кожей которого что-то движется.

В кармане его куртки она находит ампулу с цифрой 666.

Так Анна узнаёт о проекте, который не должен был существовать: сыворотка, стирающая память, и люди, готовые убивать, чтобы её вернуть. Теперь её муж — не просто жертва. Он ключ. И за ним уже идут.

«Проект 666». Книга первая. Он вернулся не таким.

Содержание

Оглавление	4
Пролог	5
Глава 1. Три стука	12
Глава 2.Первый день	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Граф Миасский «Проект 666: Он вернулся не таким»

Оглавление

Пролог

Глава 1. Три стука

Глава 2. Он не чувствует холода

Глава 3. Провал в памяти

Глава 4. Цифра 666

Глава 5. Слишком сильный

Глава 6. Сутки

Глава 7. Не верь ему

Эпилог. Сообщение

Пролог

Три месяца — это не срок. Это просто слово, которое ничего не значит, пока не начнёшь считать дни.

Я считала. Каждое утро, открывая глаза в сером предрасветном полумраке, я говорила себе: «Сегодня он вернётся». А вечером, поворачивая ключ в замке — два сухих щелчка, которые в пустой квартире всегда звучали как выстрелы, — понимала: не сегодня. И так сто двадцать два раза. Сто двадцать два утра надежды. Сто двадцать два вечера глухого, свинцового разочарования, оседающего на дно желудка.

Я научилась различать оттенки этой тишины. Утренняя была другой — тонкой, звенящей, как натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть от любого шороха. Вечерняя — густой, вязкой, она заполняла комнаты, как вода трюм, и я ходила по квартире, раздвигая её руками. Иногда мне казалось, что я слышу его шаги на лестнице, и я замирала с ключом в руке, прислушиваясь так, что начинало звенеть в ушах. Это длилось секунды. Потом приходило понимание: соседи. Или ветер. Или просто моё собственное сердце, которое стучало слишком громко, чтобы я могла отличить его от чужих шагов.

В полиции мне сказали: «Он пропал без вести. Это не значит, что он мёртв. Но и не значит, что он вернётся». Капитан за столом говорил это, не отрывая взгляда от монитора, где кто-то в очередной раз выигрывал в «Косынку». Я кивнула, взяла бумажку с номером дела — казённый, сероватый квиток, пахнувший пылью и канцелярией, — и вышла. Бумажка до сих пор лежит в ящике стола, под стопкой мёртвых кредитных квитанций. Я перечитывала её так часто, что выучила наизусть — все эти казённые формулировки, сухие, как прошлогодняя листва. «Принято заявление», «проводятся мероприятия», «при наличии информации». Я знала её наизусть, но всё равно доставала и перечитывала, будто там могло появиться что-то новое, будто буквы могли перестроиться в другой смысл, если смотреть на них достаточно долго. Они не перестраивались. Они оставались такими же мёртвыми, как и в первый день.

Три месяца я жила одна в квартире, где каждая вещь помнила его, дышала им. Его кружка — толстостенная, с выщербленным краем — стояла на полке в сушке, я не мыла её изнутри, боясь смыть невидимый след его губ. Я так и не убрала его старую куртку из прихожей — тяжёлую, пропахшую улицей и его одеколоном. Она висела на своём крючке, как обещание. Я будто заморозила время, надеясь, что если ничего не менять, не нарушать этот хрупкий порядок, он вернётся в ту же точку, из которой ушёл, просто нажав на паузу. Я не стелила нашу общую сторону кровати, оставляя

её пустой и идеально ровной, как в номере отеля.

Я даже перестала переставлять книги на его полке. Стояли криво, как он их оставил в последний вечер, — корешок одного детектива торчал, как выбитый зуб. Я поправляла его раз десять и каждый раз отдёргивала руку, будто обжигалась. Это было глупо. Это было безумно. Но это было единственное, что оставалось: охранять порядок вещей как обещание, что порядок ещё вернётся.

По ночам я иногда включала его бритву — просто чтобы услышать жужжание, тот самый звук, который раньше раздражал по утрам. Теперь он казался мне музыкой. Я стояла в ванной, держала её в руке, смотрела на своё отражение и слушала, как вибрирует воздух. Потом выключала. И в квартире снова становилось так тихо, что я слышала, как оседает пыль.

А потом он вернулся.

Не в ту же точку. Не тем же человеком. И не так, как я представляла в своих лихорадочных, спасительных фантазиях, где он просто извиняется и обнимает меня.

В ту ночь я не спала. Сидела на кухне, пила остывший чай — на языке оседала горечь, смешанная с привкусом дешёвого пакетика — и смотрела в окно, как фонарь во дворе мигает, будто не может решить, гореть ему или погаснуть навсегда, погрузив двор в первобытную тьму. Где-то в половине третьего в дверь постучали.

Не позвонили. Постучали. Три раза, медленно, тяжело, с

паузами, будто у человека не хватало сил не то что на звонок, а даже на то, чтобы просто держать руку на весу. Тук... Тук... Тук...

Я застыла. Чашка в моей руке дрогнула, и чай качнулся, лизнув край. В голове пронеслось сразу всё: сосед-алкоголик с третьего этажа, который иногда путает двери; курьер, перепутавший время; кто-то из полиции с новостями, которых я боялась. И последняя, самая невозможная мысль, которую я тут же отбросила, потому что за сто двадцать два дня научилась не верить в неё.

Сердце не ёкнуло от радости. Оно рухнуло куда-то в ледяные пятки. Так стучат не те, кого ждут.

Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Стекло искажало перспективу, превращая лестничную площадку в круглый аквариум. Там было темно — кто-то снова выкрутил лампочку. Я видела только силуэт — высокий, сгорбленный, казавшийся неестественно узким в грязной, насквозь мокрой куртке. Он стоял, опустив голову, и не двигался. Не прятался, не давил на звонок. Просто стоял под дверью, как побитая собака.

Я смотрела на этот силуэт, и во мне боролись два человека. Один — тот, что сто двадцать два дня ждал, — рвался открыть немедленно, не спрашивая, не думая. Другой — тот, что научился бояться каждого звонка, каждой бумажки в почтовом ящике, — держал мою руку на замке и шептал: не открывай, не открывай, за дверью может быть всё, что угод-

но, кроме хорошего.

— Кто там? — спросила я. Голос не дрогнул, и это удивило меня больше всего.

Тишина. Тяжёлая, мокрая тишина за дверью. Потом голос. Хриплый, сорванный, будто человек долго молчал, а потом попытался говорить сквозь забитое стекло.

— Это я.

Я узнала его сразу. По этому «я», в котором не было ничего, кроме усталости. И в то же время не узнала совсем. Это «я» звучало как подделка. Как чужая подпись, которую кто-то старательно выводил, глядя на оригинал. Я знала этот голос двадцать лет — и не узнала его.

Я открыла дверь. Замок щёлкнул слишком громко, предательски.

На пороге стоял мой муж. Живой. Это было первое, о чём закричал мой мозг: Живой. А вторым пришла паника. Худой, как скелет, обтянутый кожей, ключицы торчат острыми лезвиями. С чёрными, впалыми кругами под глазами, провалившимися так глубоко, что глазницы казались тёмными пещерами. И трёхдневная, серая, колючая щетина. От него пахло холодом подъезда, застарелой пылью, дешёвым спиртом и чем-то ещё — сладковатым, химическим, аптечным, как запах в перевязочной, — чему я не нашла названия. Он смотрел на меня так, будто видел впервые. Или так, будто забыл моё лицо и теперь мучительно пытался его вспомнить по частям.

Я стояла и смотрела на него, и во мне не было ни радости, ни облегчения — только животный, холодный ужас, который я сама себе не могла объяснить. Я должна была плакать, должна была броситься ему на шею. Всё во мне кричало, что нужно броситься. Но тело не слушалось. Тело стояло и считало — считало, что что-то не сходится.

— Я сбежал, — сказал он. Слова давались ему с трудом, он сглатывал их. — Можно я войду?

Я не помню, как кивнула. Тело сработало раньше разума, мышцы свело от облегчения, которое тут же сменилось ужасом. Помню только, как он переступил порог — тяжело, привлекая левую ногу, словно она была чужой. Как куртка соскользнула с его плеч на линолеум с глухим, мокрым шлепком. Как он прошёл в комнату, оставляя за собой на паркете цепочку грязных, мокрых следов, и сел на диван, не снимая обуви. Не разувшись. Будто не был здесь три месяца. Будто не было этих ста двадцати двух дней. Будто он просто вышел в магазин за хлебом.

Я хотела сказать ему: сними ботинки. Хотела сказать: ты с ума сошёл, ты весь мокрый, ты простудишься. Но ни одно слово не выходило из горла. Я стояла и смотрела, как он сидит, и понимала, что не могу произнести ни звука, будто это я была немой все эти три месяца.

Я стояла в прихожей, вцепившись ледяными пальцами в косяк, и смотрела на него. Свет от кухонной лампы падал на его лицо, и я видела всё. И понимала: что-то не так. Что-

то фундаментально, анатомически не так. Не с его лицом — оно было его, те же скулы, тот же шрам над бровью. Что-то было не так с его глазами. В них не было дна. Зрачки были неестественно расширены, почти закрыв радужку, превратив глаза в два чёрных провала, в которых отражался не свет лампы, а что-то другое. И с тем, как он держал спину. Он сидел слишком прямо для человека, который едва стоит на ногах. Слишком неподвижно. Как манекен. Как вещь, которую посадили на диван.

Я смотрела на его руки. Они лежали на коленях, ладонями вверх, — и это тоже было неправильно. Так не сидят люди, вернувшиеся домой. Так сидят в приёмной. Так сидят перед врачом. Так сидят, когда ждут, что им скажут, что делать дальше. Его пальцы не дрогнули ни разу, пока я смотрела. Я ждала, что он пошевелится, потрёт глаза, откинёт голову на спинку дивана, сделает хоть что-нибудь человеческое. Он не делал. Он просто смотрел в стену перед собой, и в этой неподвижности было что-то такое, от чего у меня по спине пополз холод.

Я ещё не знала, что именно.

Но я уже чувствовала: это не мой муж. Или не совсем мой. Это была оболочка. И кто-то только что её вернул.

Глава 1. Три стука

Я не помню, сколько простояла в прихожей. Время потеряло вес, превратилось в густой стоячий кисель. Минута. Пять. Десять. Я просто смотрела на него, сидящего на нашем старом диване, и не могла заставить себя сделать шаг. Мозг отказывался посылать команду ногам. Он тоже не двигался. Он вообще не двигался, если не считать грудной клетки. Только дышал — медленно, глубоко, с каким-то влажным, свистящим присвистом на выдохе, будто каждый вдох давался ему с трудом, протискиваясь сквозь слипшиеся, чужие лёгкие.

Этот звук я запомнила сразу. Он не был похож на дыхание спящего или уставшего человека. В нём была механическая регулярность, как у насоса, который качает воздух в размеренном, никогда не сбивающемся ритме. Я поймала себя на том, что считаю его вдохи: раз... два... три... — и в этом счёте было что-то гипнотическое и одновременно невыносимое, как тиканье часов в пустой комнате.

Первым делом я подумала: он болен. Это была спасительная, простая мысль, за которую можно было ухватиться,

как за перила над пропастью. Она объясняла всё: эту пугающую худобу, от которой ключицы выпирали острыми крючьями, странный, больничный запах, эту жуткую, восковую неподвижность. Больной человек может вести себя странно. Больной человек может не снимать обувь, оставляя на светлом паркете грязные разводы. Больной человек может смотреть в стену, не видя её.

Я держалась за эту мысль обеими руками. Я повторяла её про себя, как молитву: он болен, он болен, это пройдёт, нужно только вызвать врача, дать ему время, уложить в постель, напоить горячим. Я строила в голове цепочку простых, бытовых действий — и каждое из них было спасительным, потому что было нормальным, человеческим, не имеющим отношения к тому ужасу, который стоял сейчас в моей прихожей.

— Игорь, — сказала я. Голос прозвучал хрипло, надломленно, будто это я три месяца молчала, экономя слова. — Ты меня слышишь?

Он медленно повернул голову. Слишком медленно, неестественно, как в плохо смазанном шарнире. Его зрачки — два чёрных провала, поглотившие почти всю радужку — нашли меня и остановились. В них не было узнавания. Было только тяжёлое, оценивающее внимание.

— Слышу, — сказал он. И после паузы, заполненной его свистящим дыханием, добавил: — Аня.

Моё имя прозвучало из его рта чужим, механическим. Он

произнёс его правильно, артикуляция была на месте, но без тепла. Без той привычной, бархатной хрипотцы, с которой он всегда звал меня по утрам. Как человек, который выучил слово на чужом языке по словарю и теперь старается не ошибиться в произношении, чтобы его пустили в дом.

Я почувствовала, как что-то внутри меня оборвалось. Я так долго ждала, что он произнесёт моё имя. Сто двадцать два дня я представляла этот момент: как он войдёт, как скажет «Аня» — и всё снова станет на свои места. И вот он произнёс. И стало только хуже.

— Что с тобой? — спросила я, делая крошечный шаг вперёд. Паркет скрипнул под ногой, и этот звук показался мне оглушительным. — Где ты был?

Он посмотрел на свои руки, лежащие на коленях ладонями вверх. Пальцы были длинными, с синеватыми ногтями, и лежали так неестественно прямо, будто он демонстрировал их. Потом снова на меня.

— В лаборатории, — сказал он. — Они ставили опыты. Уколы. В вену. В шею. Я не помню всё. Помню стекло. И белый свет. Было больно. А потом... перестало.

Я почувствовала, как холодок пробежал по позвоночнику, оседая ледяным комом в животе. Опыты. Уколы. «Было больно, а потом перестало» — это звучало страшнее, чем если бы он кричал. Я хотела спросить больше, вцепиться в него, трясти, но он снова «отключился» — его взгляд остекленел, зрачки расширились ещё больше, если это было воз-

можно, и он замер. Он перестал дышать. Я смотрела на его грудную клетку и не видела движения. Ни малейшего. Его грудь была абсолютно, пугающе неподвижна, как у манекена.

— Игорь! — я бросилась к нему, преодолев наконец эти десять шагов, схватила за плечи. Ткань его рубашки была влажной и холодной. Не ледяной, а прохладной, инертной, как человек, который долго стоял на улице в мокрой одежде, и холод успел пропитать не только кожу, но и кости. — Игорь!

Прошло, наверное, секунд десять. Я считала их про себя, с ужасом понимая, что делаю искусственное дыхание не тому, кто умер, а тому, кто просто забыл, как это делается. Потом он моргнул — медленно, тяжело, смыкая веки, как ставни, — и взгляд вернулся. Он посмотрел на меня, на мои руки, вцепившиеся в его плечи, будто не понимая, почему я держу его и почему так кричу.

— Что? — спросил он.

— Ты не дышал, — сказала я. — Ты перестал дышать. На десять секунд.

Он нахмурился. Медленно, будто это выражение лица тоже требовало от него физических усилий, загрузки нужной программы.

— Я дышал, — сказал он. — Просто медленно. Экономно.

Я отпустила его плечи, словно они обожгли меня холодом, и отступила на шаг, упёршись поясницей в косяк кухонного проёма. В голове было пусто и страшно. Всё это не укла-

дывалось ни в одну нормальную, человеческую картину. Болезнь, травма, шок — ни одно объяснение не подходило. Это было что-то другое. Что-то, что сидело внутри него и управляло пультом.

— Тебе нужно к врачу, — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, по-хозяйски, возвращая себе контроль над ситуацией. — Завтра. Утром. Я вызову терапевта на дом. Или скорую.

Он покачал головой. Опять медленно, словно его шея была налита свинцом.

— Нельзя, — сказал он. — Они ищут.

— Кто ищет? — мой голос сорвался на писк.

— Те, кто делал уколы.

Он замолчал. Я ждала, затаив дыхание, боясь спугнуть эту тонкую нить разговора. Но он больше ничего не сказал. Просто смотрел на меня своими чёрными провалами, и в этом взгляде было что-то, от чего у меня по коже пошли мурашки размером с кулак. Не угроза. Не злость. Пустота. Как будто внутри него выключили свет, и теперь там, за глазами, только гулкая, тёмная комната.

Я взяла себя в руки. Я всегда была из тех, кто в панике начинает действовать — мыть посуду до скрипа, складывать вещи ровными стопками, звонить в пустоту. Пока я что-то делаю руками, я не думаю о страшном. Поэтому я пошла на кухню, налила воды из фильтра — пальцы слегка дрожали, и струя звенела о пластик — и принесла ему. Он взял стакан.

Пальцы не дрогнули, они обхватили стекло с механической, идеальной точностью. Он выпил всё залпом, дёрганным движением кадыка, как человек, который очень хочет пить, но потом поставил стакан на стол и посмотрел на него так, будто не понимал, что это за предмет и зачем он здесь.

— Ты голоден? — спросила я, просто чтобы заполнить эту звенящую тишину.

Он задумался. По-настоящему задумался, будто этот простой, бытовой вопрос требовал от него сложных вычислений, сверки с внутренними базами данных.

— Нет, — сказал он наконец.

— Совсем? — я не удержалась.

— Совсем.

Это было неправильно. Ненормально. Человек, который три месяца где-то пропадал, питаясь неизвестно чем, не может не хотеть есть. У него должен урчать желудок, он должен набрасываться на еду. Но я не стала настаивать. Я просто села напротив, за наш старый стол, и стала смотреть на него, пытаюсь найти в этом чужом, собранном из знакомых деталей лице своего мужа. Скулы — его, острые. Шрам над бровью — его, ещё с юности, от упавшей ветки яблони в деревне. Линия губ — его, чуть асимметричная. Но всё вместе — не его. Будто кто-то взял любимые, родные черты и собрал из них неправильную, пугающую фигуру, манекен.

Я вспомнила, как он смеялся. По-настоящему, взхлёб, запрокидывая голову, так, что на шее натягивалась жилка.

Как он ворчал, когда я ставила слишком горячий чай. Как он засыпал на диване перед телевизором, и я накрывала его пледом, и он бормотал что-то неразборчивое, не просыпаясь. Всё это было где-то там, в другой жизни, за стеклом. А здесь, напротив меня, сидело существо с его лицом и его руками, и это существо не смеялось, не ворчало и не бормотало во сне.

— Расскажи, что ты помнишь, — попросила я тихо. — Пожалуйста. С самого начала.

Он посмотрел на меня. Долго. Так долго, что я успела пожалеть о вопросе. Потом заговорил. Голос был ровный, без интонаций, монотонный, как у человека, читающего чужой, плохо переведённый текст.

— Я работал в «НоваФарм», — начал он. — Ты знаешь. Инженер-биохимик. В отделе контроля. Однажды меня вызвали в главный корпус. К директору. Сказали: «Есть предложение». Я пришёл. Там были люди в костюмах. Не наши. Чужие. Они предложили контракт. Хорошие деньги. Очень хорошие. Я подписал.

— Ты мне ничего не говорил, — сказала я. Слова прозвучали как обвинение, хотя я не хотела обвинять.

— Мне запретили. Соглашение о неразглашении. Подписка. Уголовная ответственность. Я думал, это ненадолго. Думал, заработаю за полгода, и мы закроем этот чёртов кредит за машину. Я хотел, как лучше. Для нас.

Я промолчала. Кредит. Тот самый, который я три месяца платила одна, отдавая половину зарплаты, пока он «хотел

как лучше». Тот самый, из-за которого он, наверное, и согласился на это.

— Потом были уколы, — продолжил он. — Каждый день. В одно и то же время. Мне говорили, что это испытания препарата. Для повышения работоспособности. Для стрессоустойчивости. Сначала ничего не происходило. Потом началось: я перестал уставать. Совсем. Мог работать сутками. Перестал бояться. Перестал... — он запнулся, подбирая слово, его лоб снова собрался в складки, — чувствовать. Как будто внутри меня что-то выключили. Я помню, как смотрел на людей, которые вокруг меня кричали или плакали из-за какой-то аварии в цеху, и не понимал, зачем они это делают. Мне было... всё равно.

— Это ужасно, — прошептала я. Это было чудовищно. Это было убийство души.

— Нет, — сказал он. И впервые в его голосе появилась эмоция. Какая-то странная, тусклая, похожая на удовлетворение. — Это было хорошо. Я был спокоен. Я делал свою работу идеально. Я ничего не боялся. Мне говорили, что так и должно быть. Что я становлюсь лучше.

— Лучше? — эхом повторила я.

— Сверхчеловеком. Так они говорили. «Новый человек». Без страха, без сомнений, без слабостей. Идеальный работник. Идеальный винтик.

Я вспомнила цифру 666. Холодную стеклянную ампулу, которую нашла в кармане его куртки, когда собирала вещи в

полицию. Я не сказала ему о ней. Пока не сказала. Сначала нужно было понять, что он вообще помнит, где в его голове дыры, а где — чужие вставки.

— Как ты сбежал? — спросила я. — Как тебе удалось?

Он замолчал. Долго. Я смотрела на его лицо и видела, как оно становится абсолютно, пугающе гладким, расслабленным. Он не думал. Он вспоминал.

— Не помню, — сказал он наконец. Голос снова стал пустым. — Помню, что была ночь. Помню, что я бежал. Было темно. Помню, как падал. Помню грязь во рту. Потом помню, как шёл к дому. Всё. Дальше — пустота.

— А шрам за ухом? — я подалась вперёд.

Он поднял руку и медленно, неуверенно, как слепой, потрогал место за правым ухом, под линией роста волос.

— Какой шрам?

— У тебя там шрам. Небольшой. Раньше не было. Я бы заметила, мы же спали...

Он опустил руку. Посмотрел на свои пальцы, словно они его предали.

— Не знаю, — сказал он.

Я вздохнула. Выдохнула. Вопросов было больше, чем ответов, и каждый ответ рождал три новых ужаса. Но было уже поздно, третий час ночи, и он был измотан. Или не измотан — он не выглядел уставшим, просто сидел и смотрел, и это было хуже всего.

— Иди в спальню, — сказала я, поднимаясь. Ноги затек-

ли. — Ложись. Я... я постелю. Завтра утром разберёмся.

Он кивнул. Встал — слишком легко, слишком плавно, без привычного кряхтения суставов, для человека, который минуту назад еле стоял на ногах. И пошёл в спальню. Не приволакивая ногу. Я смотрела ему вслед, на его прямую спину, и думала, что минуту назад он был похож на сломанную марионетку, а теперь двигался, как заводная игрушка. Идеально.

Я осталась на кухне. Сидела и смотрела на стакан, который он оставил на столе. На мутный отпечаток его губ на стекле. И пыталась понять, что мне делать. Звонить в полицию? Но он сбежал от каких-то «них». Скорую? Но он не болеет. Священника?

Я прокручивала в голове варианты, и каждый рассыпался, как карточный домик. Полиция начнёт задавать вопросы, на которые у меня нет ответов. Скорая увезёт его, и тогда «они» найдут его в больнице — если верить тому, что он сказал. А если не верить? Если всё это бред, вызванный голодом, обезвоживанием, травмой? Тогда любое моё действие может навредить ему. Я сидела между двумя одинаково страшными возможностями и не знала, какой из них верить.

Я подошла к окну. Фонарь во дворе всё ещё мигал, всё ещё не мог решить. За стеклом была обычная ночь, обычный двор, обычные деревья, которые ничего не знали о том, что происходит в моей квартире. Я прижалась лбом к холодному стеклу и на секунду закрыла глаза. Мне хотелось, чтобы всё это оказалось сном. Чтобы я открыла глаза — и снова

оказалась в своей пустой, тихой квартире, где единственным ужасом была тишина. Я согласна была даже на ту тишину. Честное слово, согласна.

Когда я зашла в спальню, он уже лежал. На спине, руки по швам, вытянувшись, как покойник в гробу. Глаза закрыты. Дышал он медленно, глубоко, в том самом «экономном» ритме. Я стояла в дверях и смотрела на него. А потом подошла ближе. Мне нужно было убедиться.

Шрам за ухом был отчётливо виден при свете ночника — тонкая, бледная полоска, похожая на вмятинку. Небольшой, аккуратный, будто от тонкой иглы. Такой оставляют хирурги — когда делают что-то прицельно, точно, в миллиметре от мозга. Я наклонилась ближе, почти касаясь носом его волос, пахнущих пылью и больницей.

И тогда я увидела это.

Под кожей, у самой кромки шрама, что-то двигалось. Что-то маленькое, тонкое, как нейлоновая нить или капилляр. Оно пульсировало в такт его дыханию. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Слишком ритмично для вены. Слишком быстро для пульса.

Я отшатнулась, едва не упав через брошенную на пол куртку, и зажала рот рукой, чтобы не закричать. Крик застрял в горле ледяным, колючим комом. Я смотрела на его спокойное, мёртвое лицо, и понимала: это не шрам. Это — гнездо.

Глава 2.Первый день

Я не спала. Сон не то чтобы не шёл — он просто не существовал в этой квартире этой ночью. Это было за гранью усталости. Я просто лежала на разложенном диване в гостиной, укрывшись пледом до самого подбородка, и смотрела в потолок. Серый, в мелких трещинках, которые в предутреннем свете складывались в уродливую, бессмысленную карту. В спальне был он. Дверь я оставила приоткрытой ровно на ширину ладони — не знаю зачем. Наверное, чтобы слышать. Чтобы иллюзия контроля, иллюзия того, что я могу предотвратить что-то страшное, не отпускала меня до утра. Но оттуда не доносилось ни звука. Ни скрипа старых пружин под весом тела, ни шороха одеяла, ни тяжёлого вздоха. Только то самое дыхание — медленное, ритмичное, с влажным, механическим присвистом на выдохе, словно внутри него работал старый, плохо смазанный насос. Оно доносилось из спальни ровными, метрономными волнами, и я считала их, пока не сбилась на пятой сотне, потеряв нить, и пока счёт не превратился в монотонное, убаюкивающее бормотание, от которого немели скулы.

Я лежала и слушала эту квартиру. Раньше я знала её на-

изусть — каждый скрип, каждый вздох, каждое послабление старого паркета. Теперь она звучала иначе. В ней появился новый звук, чужой, ровный, и от этого все остальные звуки стали казаться подозрительными. Где-то капал кран — я слышала его всю ночь, капля за каплей, и каждая капля падала в тишину, как в колодец. Гудел холодильник. Тихо, на одной ноте, как больной зуб. За стеной, у соседей, кто-то кашлял во сне. Всё это было обычным, нормальным, человеческим — и всё это было теперь как будто не про меня. Я лежала в своей квартире, как в чужом доме, и прислушивалась к дыханию существа, которое спало в моей спальне.

К утру, когда за окном начало сереть, а фонарь во дворе наконец-то сдался и погас, я придумала план. Он был простой и отчаянно глупый, как все планы, придуманные в четыре утра на трясущихся от адреналина коленях. Я скажу ему, что нужно в больницу. Не спрашивая разрешения, не предлагая обсудить. Просто поставлю перед фактом. Как врач. Как хозяин положения. Если он откажется, если начнёт сопротивляться — я вызову скорую сама. Скажу: «Мужчина, потеря памяти, неадекватен». Пусть его заберут силой. А если он сбежит? Если при слове «врач» он метнётся к окну или входной двери? Значит, всё, что он говорил про «они ищут», — правда. Значит, он не просто болен. Значит, он в бегах. И тогда я буду думать дальше. Хотя думать было уже нечем — голова была пустая и звенела.

Я даже прикинула, в какую больницу лучше. В район-

ную, ту, что на углу, — там работает мой знакомый невролог, Сергей Павлович, он ещё у мамы с давлением разбирался. Я представила, как привожу Игоря, как Сергей Павлович смотрит на него поверх очков, как задаёт вопросы, на которые Игорь отвечает своим ровным, мёртвым голосом. И на секунду мне стало легче. На секунду мне показалось, что всё это можно решить, как решаются обычные человеческие проблемы: позвонить, договориться, привезти, оставить врачам. Я держалась за эту картинку, как за спасательный круг, до самого рассвета.

Но когда я зашла в спальню, его там не было.

Постель была заправлена. Идеально. Не просто застелена, а заправлена. Ровно, без единой складки, без малейшего бугорка, углы простыни натянуты под 45 градусов, подушка лежит кирпичом. Как в казарме. Как в морге. Я стояла в дверях, вцепившись ледяными пальцами в косяк, и смотрела на эту стерильную, мёртвую поверхность, и внутри у меня всё сжималось от чего-то похожего на панику, но более холодного. Он не мог заправить постель. Он ненавидел заправлять постель, всегда оставлял её скомканной, и мы по утрам лениво дрались из-за этого подушками. Он не мог встать раньше меня, сделать это и уйти, не сказав ни слова, не скрипнув полом. Это было не в его характере. Это было вообще не по-человечески. Так делают роботы. Или солдаты. Или вещи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.